Круглый стол «Слухи как коммуникативный механизм»

27 октября 2009 г. Отделом истории культуры славянских народов был проведен «круглый стол» о функциях слухов и других видов косвенной коммуникации в вербальных и визуальных нарративах. Данная тема широко исследуется в последние десятилетия в рамках прагматического подхода к изучению языка и культуры.

Слухи можно рассматривать как особый механизм передачи информации, к которой не предъявляется требования достоверности. Не случайно, сообщая некие слухи, информатор замечает – *было ли это, не было, не знаю*. Кроме того, в текст слухов вводятся шифтеры типа: *говорят, мне сказали* и проч. Слухи колеблются от слова к тексту, в связи с чем трудно выявить их схему построения. Кроме того, слухи сродни подслушиванию и подглядыванию, т.е. косвенным способам добывания информации. Так происходит вмешательство в чужую жизнь, в события, не предназначенные для публичного обсуждения.

Докладчики сосредоточились на малоизученных вопросах специфики проявления механизмов косвенной коммуникации в славянских нарративах, а также в живописи. В «круглом столе» приняло участие четыре докладчика: сотрудники Отдела – руководитель проекта Л. А. Софронова, Н. В. Злыднева и А. В. Семенова – и В. В. Мочалова – руководитель Центра иудео-славянских исследований ИСл.

Н. В. Злыднева выступила с докладом **«Мотив зеркала в живописи: косвенное повествование в визуальном нарративе»** . Слухи принадлежат к речевой сфере, а визуальный нарратив – к изобразительной, казалось бы, между ними трудно «навести мосты». Тем не менее, докладчик показывает, что их можно рассмотреть во взаимосвязи.

В широком смысле нарративом можно считать не только фигуративную живопись, основанную на сюжете и тем самым повествующую о событии, но и любое изображение, обладающее внутренней драматургией действия, например, когда точка внедряется в пространство на полотне Кандинского. Существует и узкое понимание нарратива как изображения с параллельным вербальным текстом. Так, В лубке вербальный текст составляет единое целое с изобразительным рядом, изображение дробится на дискретные фрагменты наподобие языка и действие сопровождается

соответствующими подписями; в плакате активизируется Я–Ты коммуникация и возникает подобное устной речи прямое обращение; в авангарде поворот к архаическим формам визуального ряда сопровождается текстовым комментарием и т. п.

Автора доклада интересовал вопрос, как картина рассказывает историю, не прибегая к словесному ряду, т. е. к эксплицитной вербальности. Например, в изобразительном искусстве XIX века (например, в картинах передвижников) вербальность изображения проистекала из логоцентрической особенности самого типа культуры: изображение можно всегда описать словами, в т.ч. изображаемое действие. Встает проблема взаимной переводимости кодов в каждую эпоху: изображение и слово с большой остротой реагируют друг на друга и сам по себе тип этого перевода – его принципиальное наличие и характер маркирует очень важные свойства этой культуры. Это также выливается в сферу проблем теории коммуникации. В узком смысле как нарратив можно рассматривать только те изображения, которые имеют эксплицированный временной план и определенный сюжет. В более широком смысле о визуальном нарративе можно говорить, когда в определенные эпохи сдвига соотношений между искусствами изображение приобретает признаки темпоральности, а слово – пространственности, как в литературе постмодернизма. Так, в романе А. Белого «Петербург» ось сюжета основана на геометрической фигуре квадрата. И наоборот, изображение проникается вербальностью: так возникает новый лубок в авангарде, так возникали движущиеся картинки и так возникают серии и серийное мышление в послевоенном и последующем изобразительном авангарде, оперирующим дискретными категориями. Слово может быть выражено «за кадром»: в авангарде каждое изображение обрастает автокомментарием, программами, манифестами – это тоже скрытое звучащее слово.

Автор указывает, что некоторые формы изобразительного нарратива можно рассматривать с точки зрения лингвистики, например в грамматических: императив на широко известном советском плакате «Не болтай!» или на плакате времен голодомора «Помоги!». Однако соответствия между зрителем и читателем, автором и рассказчиком, связи и взаимоотношения между персонажами в художественном тексте и на картине не всегда могут объяснить особенности художественного изображения по сравнению с вербальным текстом. Докладчик вводит различение объектного и субъектного повествования. Объектное – это когда объект рассказа об определенном событии налично присутствует на картине: здесь автор предельно отстранен от зрителя-читателя. Рассказ субъекта о самом себе – это субъектное повествование, например «Крик» Э. Мунка – здесь происходит то, что М. Лотман называл «дезавтоматизацией кода», когда смысл сообщения состоит в сообщении: *как* это сделано, а не
что
сделано. На картине Малевича «Купальщики» 1929 года: жуть и экзистенциальное пограничное состояние не описано в терминах, в которых можно было бы описать

состояние этих людей, а с точки зрения субъекта.

В визуальном нарративе можно выделить и то, что М. Бахтин называл простыми речевыми жанрами: рисунки на полях рукописей, где доминируют внутреннее я как своего рода эго-текст, путевые наброски, любительская фотография, визуальные инвективы – «заборные» картинки, примитив и лубок, вывеска, агитационный плакат как императив, реклама и т. п. Но все это лишь частично затрагивает живописную область, собственно художественное изображение.

Задача докладчика была сложнее: вычленить речевые жанры вторичного уровня – то, что может быть аналогом косвенной речевой коммуникации именно в визуальном нарративе. Для этого необходим скрытый рассказчик, выступающий в роли посредника между автором и зрителем: он может выступать в разных формах. Например, на картине Г. Гольбейна Младшего «Послы» (1533) имеется предмет, который виден лишь «тайному» зрителю-рассказчику: оказывается, что на переднем плане изображен череп, который расширяет семантику изображения, вводя тему *vanitas* в изображение встречи послов, расширяя сообщение, интерпретации которого могут быть разными, но важно, что это совершенно меняет картину. Это пример «эксцентрического» зрителя, находящегося вне полотна изображения. Примером может служить «Явление Христа народу»: автопортрет самого художника развернут в профиль к зрителю, что значимо, поскольку он таким образом уходит от прямой коммуникации со зрителем и позиционирует себя как «я - он», выступая в неявной роли: скрывает себя с одной стороны, но, зная, что это он, зритель понимает эту ситуацию иначе: это можно воспринимать, в частности, как введение зрителя в само пространство визуального нарратива. На полотне неизвестного художника позднего авангарда мы видим своеобразное изображение как бы в
present perfect
, событие, которое только что произошло, о чем мы можем догадаться по экспрессивно-темпоральной организации пространства изображения. Здесь имеются визуализованные следы в виде тени, лежащей на земле, двух тенеобразных фигур и белый конь, вводящий апокалипсический мотив.

Особый тип нарратива образует мотив зеркала в изобразительном искусстве: оно создает пример косвенного повествования. В живописи зеркальное отображение (*sub specie*
– отражение в зеркале как мотив) выступает аналогом слуха, сплетни – то есть, вовлекает третьего как анонимного (= коллективного) адресанта, вследствие своей неопределенности в отношении к истинное/ложное порождающего саморасширение информации за счет мифологического приращения смыслов в процессе ее передачи и приема со стороны адресатов. Подобно слухам зеркало имеет неявного адресанта,

расширяет начальную информацию за счет мифологических приращения, а также имеет предельно широкого адресата. На этой основе живописное изображение создает коммуникационную структуру, которую можно уподобить косвенному повествованию. Зеркало может быть рассмотрено в контексте визуального нарратива как текстопорождающий семиотический механизм и оператор смысловых переносов. Оно выступает как дополнительный персонаж и бытовой предмет, способный отражать и ретранслировать, вводя некий «коммуникационный шум», «чужую речь» и отражает неявное, то есть то, что не видно зрителю.

В истории искусства широко использовалась способность зеркала одновременно удваивать (то есть тиражировать) изображение, создавать двойника, и при этом в большей или меньшей степени искажать исходный текст, то есть создавать Другого в бахтинско-лакановском смысле. При этом актуализируется оппозиция истинное/неистинное, что легло в основу многих литературных нарративов, разрабатывающих тему двойничества и в основе чего лежат фольклорно-мифологические представления о имплицированном в семантике зеркала значении границы между мирами. Зеркальное отражение выступает и в качестве символического аналога субъективизации зрения, активности глаза, как двуобращенность видимого/видящего (мифопоэтическая модель глаза по В. Н. Топорову).

В докладе были рассмотрены несколько моделей коммуникационных, формируемых мотивом зеркала как агентом косвенного повествования на примере классического искусства (Ван Эйк, Тициан, Веласкеса, Р. Магритт, Г. Сорока), в которых реализуется Третий глаз (скрытый/открытый свидетель отражения, участник его или ретранслятор сообщения). Особым образом зеркало как агент косвенного повествования репрезентирвоано в поэтике XX века, где оно выступает 1) как сигнификат границы между мирами (символизм, Серебрякова) 2) в виде раздробленного изображения как сигнификант вещного соприсутствия в авангарде (кубизм) 3) в составе поставангардного vanitas (Машков), где реализуется отсылка к традиции 4) как фикциональное отражение в совестком постсимволиззме концка 1920-х годов (Петров-Водкин), где зеркало реализует одновременно семантику vanitas и возможных миров в составе коммунистической утопии. Наконец, в художественном постмодернизме возникает проблематизация отношения природа/культура в рамках несобственно-прямой речи нарратива: два полярных примера – «зеркала в природе» Ф. Инфанте и фотография Б. Михайлова.

Делается вывод, что в функционировании мотива зеркала обнаруживаются соответствие категории несобственно-прямого повествования. Таким образом, автор доклада продемонстрировал пути схождения слуха как речевого жанра и

художественного изображения как специфического нарратива.

Л. А. Софронова обратилась к слухам в ранних повестях Гоголя. Докладчик обратился к работе Т. М. Николаевой, в которой наряду с речевыми и ментальными стереотипами, рассматривает стереотипы коммуникативные (Николаева 2000, 150, 163-173). К ним относятся и слухи, участвующие в формировании мифологии повседневности. Категория пересказа является определяющей в их создании и распространении, они анонимны по определению, “автора” замещают распространители слухов, их интерпретирующие. Строятся они на основе клише, для них, как для всех коммуникативных стереотипов, характерны преувеличенность, мультипликация, неопределенность, поддерживаемая особыми лингвистическими средствами их передачи (Там же). Слухи не нацелены на достоверность, они “не дорастают” до оформленного сюжета и обходятся его обрывками и деталями.

Этот коммуникативный стереотип воспроизводится в письменных текстах: не только в мемуаристике, но и в литературе, где играет сюжетообразующую роль и создает языковой фон произведения. Рассмотрим, какими функциями в ранних повестях наделяет слухи (сплетни, толки, молву) Гоголь, однажды заметивший: «Я совершенно убедился в том, что сплетня плетется чертом, а не человеком. Человек от праздности и сглупа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать. Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое; и мало-помалу сплетется сама собою история, без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь …» (цит. по: Мережковский 2008, 212).

Слухи в ранних повестях делятся на две группы – мифологические и бытовые, именно с них начинается мифологическая линия сюжета «Сорочинской ярмарки». Затем разносятся страшные толки, растет напор молвы, предупреждающие развитие сюжета. В «Майской ночи» на слухах строится рассказ Левко о панночке, вокруг колдуна в «Страшной мести» клубятся слухи, подтверждающие его демонологическую природу. В «Вечере накануне Ивана Купала» слухи касаются сиротства, богатства и страшной смерти Петра. В «Ночи перед Рождеством» поговаривают о связи Пацюка с чертом. В бытовых слухах раскрываются отношения персонажей: поговаривают, что свояченица вовсе не родственница голове, расходятся слухи о сватовстве ляха к Пидорке. Мотивируются слухи по-разному, например, «…у головы много недоброжелателей, которые рады распустить всякую клевету» (Гоголь 1950, 1, 60; в дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте: указываются том и страница.). В другом случае они объясняются особым состоянием говорящих: старухи толковали о том, что Солоха ведьма, «… особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее» (1, 107).

Слухи распространяются при большом стечении народа. Передача их происходит на улицах, ярмарках, в шинках, на «широком подворье». “Разносчики” слухов – это «бабы и народ глупый» (1, 49-50), «догадливые политики в серых кобеняках» (1, 252). Иногда носители информации никак не называются, тогда субъектом высказывания становятся сами слухи: «Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом» (1, 141).

Ссылки на слухи “запрятываются” в вводные слова: «Он, говорят, знает всех чертей» (1, 117), «Ты, говорят, не во гнев будь сказано…» (1, 118). При этом подчеркивается, что говорят все, что подтверждает массовость слухов. Их пересказ начинается призывом к восприятию информации: «Слышал ли ты, что поговоривают в народе?» (1, 16), «Слушай, пан Данило, как страшно говорят» (1, 143). Сообщения сопровождаются жестами, ярмарочный торговец, например, указывает на старый сарай, где водится нечистая сила.

Гоголь указывает на интенсивное распространение слухов: «… всё наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка» (1, 22). Замечает, что они захватывают все пространство. Скорость распространения слухов также находится в поле зрения писателя: «Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора» (1, 23). Он прослеживает их нарастание – «К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденным волостным писарем» (1, 23); учитывает их преувеличенность, как в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»: «В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи, как о великом хозяине» (1, 191). Эта характеристика героя ничем не подкрепляется, в слухах дается завышенная оценка. Так выявляется такая черта слухов, как безосновательность. Наиболее характерная их черта – неопределенность – порождается неоднозначными интерпретациями: «Но все почти говорили разно, и наверно никто не мог рассказать про него (колдуна. – *Л. С.*)» (1, 141), т. е. “разночтения” события сливаются в едином потоке слухов.

Механизм создания слухов подробно описан в «Ночи перед Рождеством». Старой Переперчихе оказалось достаточно увидеть бегущего Вакулу, чтобы всем рассказать, как он повесился. Получатели информации не сомневаются в истинности этой информации и спорят только о том, повесился кузнец или утонул. Каждый настаивает на своем: «Утонул, ей-богу, утонул! вот: чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! Вот, что бы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!» (1, 134). Так сообщение подтверждается ссылкой на очевидца. Этим слухам поверил голова, но не Оксана, сомневающаяся в их достоверности. Слухам верят не все. «Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый» (1, 55), «Вот как мало нужно полагаться на людские толки» (1, 74), – замечает Левко. Казаки возмущаются слухам о Солохе: «“Брешут, сучи бабы!” бывал обыкновенный ответ

их» (1, 107). Есть в повестях и абсолютно достоверные слухи, как в «Вие», где с их помощью фиксируются значимые точки сюжета и связываются отдельные его отрезки. Все виды слухов поддерживают смысловое единство ранних повестей.

Они и в дальнейшем появляются в гоголевских произведениях. Например, в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» «проговаривали», что Иван Никифорович женат, но это было совершенной ложью, что «назади» у него есть хвост. Автор решительно опровергает и эти слухи, так как известно, что хвосты бывают только у ведьм, в основном принадлежащих к женскому полу. На слухах строятся сюжеты «Носа» и «Портрета». Слухи, сплетни, толки пронизывают «Мертвые души» и «за автора домысливают истину о Чичикове и о высшем его назначении, сопряженном с покупкой мертвых душ» (Терц 1975, 420).

В. В. Мочалова (Центр славяно-иудаистических исследований ИСл) выступила с докладом **«Роль слухов в реализации межэтнических и межконфессиональных отношений в ренессансной Польше»**
.

Материалом доклада послужили письменные источники ренессансной Польши, в которых нашли отражение представления поляков о других народах, католиков – о приверженцах иных конфессий, выраженные в виде слухов. Согласно одной из словарных дефиниций, слухи – разновидность коммуникации, в процессе которой вызывающая интерес информация разной степени достоверности, с трудом поддающаяся проверке, быстро передается людьми друг другу и становится достоянием широкой аудитории. Для определения границ предмета исследования докладчик также привлек работу Б. В. Дубина и А. В. Толстых (Дубин Б. В., Толстых А. В. *Слухи как социально-психологический феномен* // Вопросы психологии, № 3, 1993.), рассматривающих слухи как социально-психологический феномен, как «черный рынок информации», ценность которой – в ее утаенности, неофициальности, передаче «своим», следовательно – о «чужих».

Речь Посполитая предоставляет богатейший материал для изучения слухов о разного рода «чужих», поскольку в этом многонациональном и многоконфессиональном государстве сосуществовали различные христианские деноминации (католики, православные, армяне-грегориане, с 1596 г. – униаты; протестанты: кальвинисты, лютеране, ариане, чешские братья), а также иудеи (раввинисты и караимы) и мусульмане. Историк Йост Л. Деций, секретарь короля Сигизмунда I, в 1521 г. описывает

Польшу как страну, где, помимо католического большинства, проживают “рутены, у которых вера греческая, несколько отличающаяся, подобно тому, как разделены богемцы и Римская церковь; часть населяют армяне.., но больше живет самого неверного народа – иудеев. Однако у этой религии имелись места, где практиковалась вера”.

В этих условиях слухи становятся одним из действенных механизмов, отражающих или даже регулирующих межэтнические, межконфессиональные отношения.

Лингвистические, этнические, конфессиональные меньшинства вынуждены в этих условиях приспосабливаться к доминирующей культуре, а «чужими» с точки зрения католической ортодоксии в первую очередь являются «свои отступники», протестанты, затем – православные, которые рассматриваются как схизматики, повинные в расколе единой христианской церкви. Иудейское и мусульманское меньшинства в этой картине мира оказываются – по сравнению со «своими отступниками» – потеснены на маргиналии, однако тоже представлены в жанре слухов.

В некоторые литературные тексты могут внедряться, инкрустироваться и слухи об огромном восточном соседе – Московии. Например, Лукаш Гурницкий представляет «Москву» (здесь это этноним, а не топоним), т.е. всех русских рождающимися сразу «с остроумным словом на устах». Такое представление могло складываться, благодаря знакомству с известными московскими послами, такими, как Дмитрий Герасимов, посол Василия III, прославившийся своей миссией у папы Климента VII (1525). Человек весьма образованный, хорошо знавший латынь и употребляемый московским князем „в посольствах шведском, датском, прусском, венском”, Герасимов, как писал о нем Н.М. Карамзин, имел многие сведения, здравый ум, кротость и приятность в обхождении” и произвел большое впечатление при папском дворе, „беседовал с учеными мужами и в особенности с Павлом Йовием, рассказывал им много любопытного о своем отечестве». Среди других сведений, приводимых Гурницким, «Москва» – лучшие шахматисты, которые даже в уме играют в шахматы, отправляясь куда-то в путь.

Хронист Ст. Кобежицкий включает в свое историческое повествование распространявшиеся в Москве в период Смуты слухи, свидетельствовавшие об отрицательной реакции на присутствие поляков при дворе Лжедимитрия I, которая интерпретировалась историком как проявление рабской натуры: «И сами польские гости, вечные враги московитов, возбуждали в народе ненависть по отношению к Димитрию. Шептались, что их так много в самом сердце империи, что они пользуются у нового владыки такими почестями, которые никогда не оказывались иноземцам. Все это

не удивляет у народа рабов, уважающего лишь свое, презирающего чужое» (*Kobierzycki St.* Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego / Wyd. J. Byliński i Wł. Kaczorowski. Tłum. M. Krajewski. Wrocław, 2005. s. 44.).

В свою очередь, М. Загоскин – автор первого исторического романа о Смуте в России – тоже инкрустирует в «Юрия Милославского» слухи, ходившие по Москве о Марине Мнишек: «Говорят, будто б эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно!»; «она и теперь еще около Москвы летает». Слухи выступают как источник подобных сообщений, так и основание их «верификации»: “вся Москва говорит об этом”. Вообще эпоха Смуты – это «выброс» изумительных по красоте, гротескности и абсурдности слухов.

В культурном многоголосии польского общества той эпохи особый тон принадлежал низовой литературе, в текстах которой межэтническое сосуществование предстает в гротескно деформированном отражении, позволяющем, тем не менее, реконструировать и простонародные мифологические представления о “чужом” (“Года 1592. В Хеге на ярмарке был один еврей, у которого было две головы, и обе с бородами, и обеими он говорил и ел”), и традиционный образ еврея-купца, ведущего международную торговлю и обладающего диковинными экзотическими товарами, за которые он запрашивает непомерно высокую цену: “Среди прочих товаров у него была жемчужина, на которой была изображена вся Троянская война и тот конь, в котором сидело войско. Он оценил ее в четыре с половиной миллиона”; “У еврея, ехавшего в Порту, был ящик восточных бриллиантов, из которых можно делать очки, и мешок жемчужин величиной с орех”. Трансляция такого рода слухов скорее удовлетворяла потребность в чудесном, диковинном.

Авторы гротескных новелл отражают и этноконфессиональные отношения между православным и католическим населением периода Брестской унии: “Года 1606. За Гологурами в лесу в дупле нашли русские книги, которые, **говорят**, писали ангелы в то время, когда русь с ляхами принимали унию. Никогда такого не было, чтобы эти два народа жили в согласии; русин ради русина свой зуб даст вырвать, а для ляха не захочет и волоска. Сейчас эта книга у арендатора еврея под закладом”.

Подобного рода информация вводится со ссылкой на авторитет слуха, на ситуацию, якобы способствующую ее верификации (например, наличие свидетеля, очевидца, с чьих слов записан рассказ).

Слухи, ходившие среди христиан об иудеях в Речи Посполитой («кровавый навет», осквернение гостии), могли играть и весьма печальную роль. Примером может служить слух о том, как христианка вынесла во рту гостию из храма и продала иудеям, которые эту облатку кололи и резали (как символ тела Христа), и она кровоточила; в тех, местах, куда капала кровь, вырастали маки, появлялась радуга, происходили всякие чудеса. Король Ягелло построил на этом месте костел и монастырь Тела Господня: так слух оказался реализованным в архитектуре.

Принятое в немецкой социологии различение Gemeinschaft и Gesellschaft релевантно и для изучения слухов: одно дело – то, что говорится в группе, сообществе, а другое – это общественное мнение. В ту эпоху до общественного мнения – в современном его понимании – далеко, и поэтому значимо мнение представителей разных сообществ, партий, кругов. Это проявилось, в частности, в ситуации первого бескоролевья в Польше, когда рассматривалось несколько кандидатов на польский престол, среди которых был и русский царь Иван Грозный, и его сын Федор. Слухи, имевшие хождение во время предвыборной кампании, вписываются в политическую публицистику. В «листовках» партии сторонников Ивана Грозного постоянно присутствует модус «говорят». Сторонники царя расхваливают его мудрость, остроумие и рыцарскую доблесть, с другой стороны, возражают тем, кто представляет московитов грубыми и неотесанными («Вот те, кто говорят: “Московский народ грубый”, не видели его, а судят»).

Слухи (модус “говорят”, “рассказывают”), как можно судить, выступают низовым, народным вариантом ссылки на высший религиозный авторитет, Священное Писание («ибо сказано»), служат своеобразной отсылкой к авторитету коллективного мнения, имеющего хождение в устной форме и затем передаваемого в печатной.

А. В. Семенова представила доклад на тему: **«Виды косвенной коммуникации в кашубской словесности»** . Докладчик продемонстрировал неоднозначность высказываний, жестов, относящихся к косвенной коммуникации, и указал на необходимость определения границ между прямой и косвенной коммуникацией. В поисках научной версии разграничения прямой и косвенной коммуникации, были изучены работы современных психологов, поскольку современная психология уделяет различным видами коммуникации пристальное внимание. Однако определения, принятые в психологии, оказались не вполне пригодны к изучению художественных текстов, поскольку в основном в этих работах косвенность сводится к использованию технических средств.

Другой автор указывает, что коммуникация делится на прямую и косвенную, подразумевая при этом, что при прямой коммуникации «все понимается буквально. Люди, использующие этот стиль общения, говорят то, что они думают, ничего скрытого не имея в виду». При косвенной коммуникации предполагается, что «люди понимают значение сообщения по-своему, не запрашивая объяснений. Они вычленяют (некоторые) аспекты сообщения, используя метафоры…» и различные формы эвфемизмов.

Как видно из приведенных определений, косвенная коммуникация толкуется многообразно, а в работе Бенеша исследуются отдельные речевые акты – *rumours*, представляющие собой законченные сообщения, тогда как в художественных текстах такие коммуникаты оказываются «вмонтированными» в общую канву более обширного текста, выполняющего более объемные художественные и коммуникативные задачи.

В докладе были проанализированы кашубские фольклорные сказки, изданные под общим названием *Bajarz kaszubski*. В этот сборник вошло около 80 сказок, публиковавшиеся в 1908–1912 гг. в журнале *Gryf* А. Майковского, кашубского писателя, общественного и политического деятеля. Помимо сказок были изучены два сборника рассказов кашубских авторов, Б. Яжджевского (*Jôrmårk w Borzëszkach*) и Х. Давидовского (*Z Kaszëbama o Kaszëach*). В перечисленных текстах были выявлены прежде всего такие фрагменты, которые подпадают под категорию слухов, rumours, к которым «не предъявляется требования достоверности», и которые в частности вводятся шифтерами типа «говорят, мне сказали и пр.». Информацию сообщает свидетель некоего события или тот, кто о нем только слышал, свидетель или рассказчик (эта парадигма была задана в проекте нашего круглого стола, также как и изучение текстов, описывающих получение информации, добытой в процессе подслушивания и подглядывания, т.е. косвенных способов добывания информации).

Однако способы получения информации и комментирование источников, достоверности или, наоборот, сомнительности информации этим далеко не исчерпываются. В рассказах кашубских писателей были обнаружены следующие типы косвенных коммуникатов и близких к ним сообщений и комментариев, не укладывающихся в рамки прямого сообщения о реальных событиях или их «официальной версии» (о чем писал, в частности, Бенеш): ссылки на авторитетный источник информации, придающий ей достоверность; ссылка на сопутствующие события и участие «свидетелей»; упоминание деталей, усложнение рассказа, утяжеление его подробностями и приведение мнения

других людей, в частности, родственников; иногда автор пользуется приемом «удвоения» рассказа, когда о событии рассказывает более одного человека, причем их точка зрения совпадает в главном, а в деталях расходится, либо рассказ одного участника, очевидца или «пересказывающего» является более подробным, чем второй. Одним из важных косвенных показателей достоверности является указание на условия, помешавшие автору сообщения солгать, либо догадка по поведению собеседника и особенно по его мимике и телодвижениям. В отдельных случаях автор-рассказчик сам рассуждает сам о природе и возникновении слухов, одновременно являясь одним из звеньев в цепи передачи какого-то протофольклорного коммуниката; сюда же можно отнести предвидение и одновременно боязнь оговоров и страх «попасть людям на языки». В некоторых случаях указывается письменный источник – либо письмо, либо – периодическое издание, чаще газета, причем этот канал информации упоминается в отдельных сказках, указывая на переплетение мифологических сюжетов с позднейшими наслоениями, привнесенных с целью сделать повествование более «правдоподобным». В рассказах зафиксированы примеры, близкие к уже упоминавшимся способам косвенного получения информации, таким как подслушивание и подглядывание, в нашем случае – это шепот, который слышен окружающим, для которых сообщение не было непосредственно предназначено; случайные свидетели семейной ссоры в одном случае выходят из помещения, чтобы не слышать того, что в принципе говорится не для них, или же не желают слушать этих вещей, несмотря на то, что ссорящиеся супруги вполне могут «работать на публику». Одним из способов косвенного указания на событие является ошибочная мысль, которая затем подвергается уточнению и исправлению – тогда за реальное сообщение принимается второе, а также воспоминания, в которых говорящий-рассказчик может быть в разной степени уверен, поскольку события могли либо «ясно запечатлеться» в его памяти как яркие и эмоционально насыщенные, либо «стереться» в памяти. Некоторые герои верифицируют свое мнение с помощью различных примеров народной мудрости – приводят пословицы и поговорки для подтверждения своих слов. Иногда указанные источники информации намеренно принижаются для того, чтобы понизить вероятность достоверности высказывания собеседника (в газетах одно вранье; да что ты там вычитал! и т. п.).

В сборнике кашубских фольклорных сказок встречаются следующие виды косвенного получения и сообщения информации, причем все эти способы не требуют никакой дополнительной верификации, чем «чудеснее» они выглядят, тем скорее и проще их воспринимает как достоверные герой повествования: сны, причем иногда эти сны «реальны», а иногда героиня будит своего похитителя и задает ему важный для ее освобождения и решения проблемы главного героя сказки вопрос в форме пересказывания своего якобы сна; письма, спрятанные таким образом, что их прочтение отстоит от написания на несколько лет, например, когда подрастает ребенок, который еще не появился на свет, когда письмо было написано; различные знаки, в том числе имеющие символическую функцию предметы (кольца, платья, сабли и ножны), а также сродственные символическим предметам символические, условные действия, например, выстрел как сигнал; соблюдение правил приличия, сводящихся к уважению старших и таким образом соблюдению социальной иерархии становится для героя ключом к

решению задачи; герои, выступающие под личинами, не открывают своей сущности, но действуют согласно ей. Так, Иисус Христос и Дева Мария предстают в образе старика и старухи, становятся крестными героя, косвенно помогают ему достичь всевозможного благополучия. В сказках встречается несколько видов подслушивания: во-первых, говорящий может не знать, что его слышат, во-вторых, он может не быть уверенным, что его слышат, но старается быть услышанным (если от этого зависит, например, его собственное избавление от злых чар), в-третьих, персонаж может сообщить другому персонажу о событии, чтобы подтвердить добрые намерения героя и помочь ему решить задачу. Рассказ может вестись напрямую, без всяких обиняков, однако этот рассказ ведется не живым человеком, святым или даже животным, а духом умершего человека, нуждающегося в упокоении. Как и в рассказах, в сказки проникли указания на такой источник информации, как газеты. Так, король и богатый крестьянин вычитывают о чем-то в газетах, после чего их сыновья отправляются выполнять указанную задачу. Особо следует упомянуть случай, когда письменный источник не указан, но подразумевается – это Св. Писание. Когда в сказке происходят чудеса, участники и свидетели событий практически не удивляются; скорее боятся и удивляются отрицательные персонажи, которые в результате попадают впросак. К косвенной коммуникации следует безусловно отнести психологический расчет, заманивание, невербальное подталкивание к действию – это видно в рассказе о разбойнике Чорлиньском: он заманивает еврея, тот оставляет свое имущество в лесу, разбойник его получает обманом, а не силой. В сказках часто присутствует знание «просто ниоткуда», однако, иногда такое априорное знание может быть ложным, а иногда воспринятое каким-то образом ведет к гибели. В сказках также используется механизм верификации: тогда после предсказания и характеристики события добавляется фраза вроде «и правда так случилось…». Иногда косвенность сообщения состоит в том, что говорящий не узнает адресата сообщения, тогда как тот его узнает, причем по сути это сообщение, в частности, покаяние перед ним, ему и предназначено. Обострение, комическое напряжение и снятие происходит тогда, когда устойчивые формулы воспринимаются в буквальном смысле: так, сестра послала брата в ад, а он, пойдя туда, стал очень богат и наказал жадную сестру. В одном случае зафиксировано принуждение ко лжи запугиванием и распространением ложной информации и др.

Докладчик пришел к выводу о том, что особенности средств косвенной коммуникации и их несколько большее разнообразие в сказках обусловлено спецификой модели мира, отраженной в этих произведениях: мир сказки и былички включает одновременно плоскость повседневности в ее универсальном и обобщенном виде, одновременно охватывая мир волшебный, потусторонний, мир «идей», творения, прообразов и прапричин сущего в «этом мире». Кроме того, отсутствие потребности в «реальной» верификации отражается в отсутствии в сказках коммуникатов, содержащих нагромождение деталей, повтор рассказа об одном и том же событии разными героями, снимается полностью вопрос доверия к событиям – происходящее в волшебном мире является как бы одновременно очевидным априори. Совпадение многих видов косвенной коммуникации, как-то например: узнавание информации из писем, газет, от родителей и других старших по статусу и возрасту людей, распускание слухов и запрет или боязнь

говорить правду в текстах *Bajarza* и в рассказах демонстрирует единство языковых средств и категорий, на которых строится любое повествование. Одновременно с этим, указанные совпадения свидетельствуют о близости обоих типов текстов и ориентированности кашубской художественной литературы на свои фольклорные корни.

Литература

Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.

Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 1. М., 1950.

Абрам Терц (А. Синявский). В тени Гоголя. London, 1975.

Мережковский Д. С. Из книги «Гоголь и черт» // Гоголь в русской критике. Антология. М., 2008.